

ОЛЕГ ДОЗМОРОВ



СМОТРЕТЬ
НА БЕГЕМОТА

Олег Дозморов

Смотреть на бегемота

Москва

«Воймега»

2012

УДК 821.161.1—1 Дозморов
ББК 84 (2Рос=Рус)6-5
Д62

О. Дозморов
Д62 Смотреть на бегемота. — М.: Воймега, 2012. — 104 с.

ISBN 978-5-7640-0127-2

Книга выпущена при поддержке Алексея Коровина

© О. Дозморов, текст, 2012
© С. Труханов, оформление, 2012
© «Воймега», 2012

О поэзии Олега Дозморова

Над миром восходит луна, единственная и неповторимая в природе и бесщётно воспетая в литературе всех времён, и, когда возникает её двойник в море, поэт, воздав лунному отражению по заслугам, обращается к возлюбленной:

Классический мерцающий двойник,
умалишённый, белый, безобразный.
Так я к тебе, к твоей душе приник,
колеблющийся и на всё согласный.

Эта строфа в своём построении тоже классический двойник многих строф русской поэзии от Ломоносова — «...Как в сильном вихре тонкой прах, / В свирепом как перо огне, / Так я в сей бездне углублён, / Теряюсь, мыслями утомлён!» — до наших дней.

Поэт Олег Дозморов следует традиции, а следование традиции — не только в использовании узаконенных инструментов и нотной грамоты, но и в верности себе, своему неизбежно неповторимому способу освоения вечных тем. Поэтому вежливость, с которой принят и учтён опыт читателя, нежелание ошарашить его чем-то экстравагантным сочетаются с непоколебимой и нелицеприятной точностью (двойник «белый, безобразный», а главное — «колеблющийся и на всё согласный»), которую уже вынужден принять и учесть читатель. На вежливость ответить взаимностью — дело чести. И хотя вослед нашей взаимности может прозвучать раздражённое: «Побыть одному. Вот именно. Одному. / Идите все в школу со своими учителями», — читатель и ценитель поэзии останется невозмутим, он понимает: раздражение поэта направлено на себя, на свою дотошную и неистребимую привязанность к классике. К тому же раздражение

приправлено иронией и юмором. Поиск затерявшихся вещей, к которому привлечены Пушкин, Ленский и Ходасевич: «Куда, куда вы удалились, / запропастились, завалились, / но не пенсне и не ключи?» — завершается так:

Очки с мобильником сокрылись
в филологической ночи.

«А что случилось? А собственно, ничего» — начало одного из стихотворений Олега Дозморова. Он из тех редких поэтов, которые умеют создавать из ничего. Это мера значительности поэта, степень его приближения к ценностному миру, в котором нет несущественного.

А что случилось? А собственно, ничего.
На рассвете тихо поднялся ветер.
Облака недосчитались товарища одного...

Возможно, кто-то найдёт в этом иносказание, оно напрашивается, и решит, что речь идёт о человеке. Но лучше, по-моему, без иносказаний. Всякое движение мира, в том числе сиюминутное исчезновение облака, значительно, если значителен поэт, и не его заслуга или вина, если это движение приобретает символический смысл, — здесь нет глубокомысленного расчёта, а есть переживание смертного мгновения, единственного в своей смертности и потому достойного восхищения и сострадания.

Мальчик приносит маме камушки необычных оттенков.
1985-й, Крым, Алушта.
Море без остановки снимает пенку.
Наверное, волнуется потому что.

Здесь, между прочим, запечатлено событие, знакомое каждому ребёнку, но для будущего поэта особенно примечательное:

перенос своего чувства на явление природы, когда детская взволнованность дарится морю. Это оттуда, из самых ранних лет: «Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три...» А быть может, наоборот: морские волны дарят ребёнку глагол «волноваться», и его осеняет происхождение слова, и уже от одного этого открытия накатывает волнение.

Если незамутнённое волнение детства станет незабываемым опытом собирания камушков, то будущему поэту есть к чему вернуться: к потерянному раю быть самим собой. Вот только после ада гордыни:

Мне шестнадцать, граждане. В Свердловске — лето,
пыль и радиация, больше ничего.
Все мои приятели — гении, поэты.
Просто человека — нет ни одного, —

для этого потребуется мужество:

Учись, и стань совсем другим,
чужим, ненужным и безвестным,
как эти тучи — серым в дым.
Естественным, неинтересным.

Быть «естественным, неинтересным» требует мужества потому, что здесь таится опасность отчаяния и богооставленности. Но другого пути нет. Поэзия, и книга в частности, не собрание мыслей, не музыка, вообще не что-то одно, а всё вместе, что можно бы назвать религией творчества жизни.

Думаю, что перед читателем именно такая книга. Не знаю, был ли Свердловск адом, Москва чистилищем и станет ли Англия, где в результате оказался Олег Дозморov, раем, — я говорю, конечно, о духовном становлении автора (а оно может происходить только в четвёртом измерении, другими словами в Петербурге), — но обнажённая ясность этих стихов, их существование на стыке молчания и речи, тоска по подлинности —

всё это становится гарантией роста поэта и читательской радостью.

Темнеет рано. Осень словно вор.
Во тьме играют дети возле школы.
Роняет парк свой головной убор —
вот он и голый.

И плоский Балэм, сколько видит глаз,
заледенел в огнях горизонтально,
но я в колонке зажигаю газ,
и всё нормально.

И утром в пешех облаках висит
(мир не прекрасен, но небезнадёжен)
такой простой, наивный реквизит,
что Он — возможен.

Это ответ на нигилизм, на воцарившееся Ничто XX века, это восстановление жизненных ценностей, чьи образы становятся самим бытием и преобразуют мир.

Владимир Гандельман

август 2011

I

* * *

Снова о гибели? Был уже мальчик,
нам не чета.
Выбросьте книги, закройте журнальчик.
И — хоть до ста.

Лучшего не воскрешается призрак.
Нет ничего.
Что вы трясёте мотнёй романтизма?
Дети, во-во.

На окровавленных склонах Кавказа
наш романтизм.
Холод, вагон человеческого мяса,
вши, ревматизм.

Не начинайте. Окончится плохо.
Стиль есть война.
Стиль есть, простите за пафос, эпоха.
Нам это на?..

...Сгинем уродливо, но элегично.
И не пророчь.
Чисто, чувствительно, гордо, лирично.
В звёздную ночь.

* * *

«...учиться реагировать на мир
словесным образом. Не попросту словесным,
а строго в рифму, соблюдать размер,
предписанный столетьями традиций.
Не правда ли, меж жребиев других
великая, прославленная участь?»

Мир сочиняет грязную весну.
Таджики сортируют русский мусор
спокойно и торжественно, и я
завидую им почему-то — люди.
Забыть бы русский, жить что твой таджик,
уехать далеко, где мы таджики.

Нет словарей, энциклопедий, книг,
не нужно грамоты, правописанья.
Из всех-то слов остались «я», «ты», «он»,
«сыр», «телефон», «лепёшки», «кукуруза».
Простая жизнь: найти себе работу
и место, чтоб раздеться и уснуть.

Когда-нибудь вернёмся — тут ислам,
как и во всём благословенном мире.
Нас вспомнят два-три друга, мы придём
на кладбище к возлюбленным могилам.
И на надгробьях прочитаем буквы,
как университетскую латынь.

* * *

Друзья, вообразите сцену:
Россия, XXI век,
с утра мне долбит прямо в стену
на бас-гитаре человек.

Живёт тут во втором подъезде
псих, неудачник, музыкант.
С утра засаживает двести
и полирует свой талант.

Бубнят в трансцендентальном плане
басы, ну как тут будешь спать?
Как на продавленном диване
тут мыслить будешь и страдать?

Я думал: вот за ум бы взялся,
продал гитару, бросил пить.
Ведь никому не обещался
для звуков жизни не щадить.

Его я тихо ненавидел,
его я пылко презирал.
Ничем придурка не обидел,
а он затих, а он пропал.

И где он? Умер или спился?
Кто даст мне правильный ответ?
Куда сосед запропастился?
И почему тех звуков нет?

* * *

Ну что за день двадцатое апреля?
Кружится снег.
И началась рабочая неделя.
И человек

торчит, как пень, один на остановке,
другой бредёт,
как тень его, в развязанном кроссовке,
и снег идёт.

Давай, дружок, пешком до магазина,
потом домой.
Жизнь тянется как чёртова резина,
обожемой.

Нам задают громадные вопросы:
где склад снегов?
У нас текут растерянные слёзы
и нету слов.

Я полчаса промёрз на остановке.
О, если б там,
в рекламе, на билборде, на листовке,
гиппопотам

изобразил осмысленное что-то,
раздул ноздрю...
Ты мне сказал смотреть на бегемота,
и я смотрю.

* * *

А что случилось? А собственно, ничего.
На рассвете тихо поднялся ветер.
Облака недосчитались товарища одного,
если, конечно, облачный фронт заметил.

Заметили, да. Далече он улетел.
Где ликует теперь его смутный облик?
Лёгкий как дым, отлетел за невозвратный предел,
да простит мне Ожегов это слово, облак.

* * *

Словно Пьер, понабравшийся мудрости у народа,
шепча «что вы можете сделать с моей душой?»,
отыскивая в облаках существительное «свобода»
и не находя, топтать по Моховой

мимо «Националя», мимо филфака, мимо
марбургского студента, слепившего те стишки,
после которых три века неумолимо
за родиной водятся силлабо-тонические грешки,

мимо лучшего в мире Зоологического музея,
где среди всяких тварей в систематизированном раю
на картине маслом сидит ученик Линнея
и смотрит печально на разрезанную змею,

шествовать, словно твой протопоп Аввакум,
туда, где стоит только, переделывая дела,
допустить промашку — образовывается вакуум
вокруг твоего офисного стола.

* * *

Поедем, я готов. В тот край, где облака
оттенка молока и горизонт — строка.

Где в пять утра рассвет и даже пустоцвет
распространяет свет. И подозрений нет.

Где можно быть, не быть. И вожжи отпустить.
И шарфик распустить. И это прекратить.

* * *

Куда, куда вы удалились,
запропастились, завалились,
но не пенсне и не ключи?
Не проклинай, не трепещи,
не бормочи и не ворчи,
а лучше в кухне свет включи.
Очки с мобильником сокрылись
в филологической ночи.

* * *

В сущности, всё неважно. Неважно, в общем-то, всё.
С любой ноги — прыжок в сторону. Сбить со следа.
Словно облако, которое с виду сом, невесом и несом.
Словно пух, отцепившийся от складки пледа после обеда.

С любого места, вот именно. Грация ни к чему.
подавитесь своими кренделями, калачами.
Побывать одному. Вот именно. Одному.
Идите все в школу со своими учителями.

Двух этих самых не то чтобы не боец,
проплываю медленно, трансатлантический дирижабль,
над полем вялого боя. Кому там пришёл конец?
Кто победил у вас? Звона не слышу сабель.
Все слова сломались. И сорванец — мертвец.
И продолжается кровопролитный скрабл.

* * *

Приветствую. Уже часов с пяти-шести
ужасно тянет спать и ужинать охота.
И хочется уйти, но с этим не шути —
ты помнишь, как тебе нужна эта работа.

Одиннадцатича-совой рабочий день
ознаменован пе-рерывом, как цезурой.
Напротив жёлтый дом плечом уходит в тень,
другой — выходит из трагической фигурой.

Возвышенная злость, лирическая спесь!
Вы не должны смущать чистюлю-привереду.
И Ходасевич был уже. Точнее, есть.
Лет через пятьдесят отпразднуем победу.

Ну а пока в Москву выходит гражданин
из офисного дна и движется понуро
вперёд по Моховой, пожизненно один,
и тень его длинна, как ты, литература.

* * *

Между людьми одна высокая стена.
Между тобой и мной, как между комнатой
и комнатой другой, и тут уж ной не ной.

Лишь отголоски — звук, лишь гул тиранит слух.
Однако эта жизнь рассчитана на двух,
но каждый тих и глух, как из подушки пух.

Зайди в мою, проверь, открой ногою дверь.
Я прежний и теперь, поверь, не лютый зверь —
рассеянный поэт, тетеря из тетерь.

У нас с тобой одно и на восток окно.
У нас с тобой одно любимое кино.
Одно, как раньше, «да». Одно, как прежде, «но».

* * *

Лёгкий дождь — и, несмотря на осень,
липа у ворот благоухает.
Обтрепалась, выглядит не очень,
но, по счастью, этого не знает.

Выхожу один на остановку,
фонари по одному сгорают.
Нам давно пора на перековку.
(Как роскошно липы умирают.)

Перезимовать бы где у моря,
несмотря на то, что тривиально.
Загореть, хлебнуть немного горя,
тихо, по-осеннему печально.

И ожить весной. Но это дудки.
Брось надежды, сын литературы.
С этой тёткой, знаешь, плохи шутки —
переврёт, напутает, как дура.

* * *

Лучшие умирают, и остаёмся мы —
средней руки поэты, медленные умы.

Бойкие балагуры, завистливые юнцы,
вежливые лжецы, незадачливые самцы.

Друг о друге лучше, чем хорошо,
рукописей мешок, от чужого — шок.

Любите нас, легендарных, полуседых,
самовлюблённых, наглых, бездарных, злых.

Вот мы сидим в кафе и глядим в окно:
впереди старость — наше Бородино.

То, что для вас ад, для нас будет рай.
Платим сами, даже даём на чай.

Всё же лучше, чем телик и домино.
Отдаём в печать радостное говно.

* * *

Exegi...

Поедатель культур в книжный, что на Тверской,
изо всех сил спешит, к сердцу в тоске прижав
карту зарплатную, бонус где годовой,
с трудового поста в пять тридцать пять сбежав.

В семь двадцать две бредёт он дурак дураком:
славы и денег нет, нужен лишь ужин, душ,
вечером полутруп, утром рано подъём,
сдохнешь философом, словно латинский муж.

Повесть банковских тел, сводка бездарных дел,
малой возни земной в никуда бюллетень.
Что ты, малыш, хотел, что ты в виду имел,
воплем на весь роддом свой начиная день?

Мелкой тоски прилив, жалобных слов намыв,
скромный полуитог, никакой результат.
Над бескрайней Москвой, напоминая взрыв,
сто дымов без огня памятником стоят.

* * *

Мальчик сообщает собаке, что она собака.
У собаки на морде написано: «А-аднако!»
Собака умрёт скоро, мальчик ещё не скоро.
Человека зовут Олежа, собаку — Дора.

Местами скучно, сентиментально местами.
Так и въедешь в старость со своими стихами.
Жвачка на джинсах. Воспоминания детства.
Оно как средство. Или, лучше, наследство.

Настигает в шумной компании, по телефону.
Звонит тебе, стихотворцу и мудозвону,
говорит: «Ты помер. Слышишь, старик, ты помер.
Что ты там шепчешь про не тот номер?

Это я кручу диск в жёлто-красной будке.
Это я звоню тебе, как «Звезда» «Незабудке».
Это я тебе снился все эти двадцать лет.
Я придумал тебя, и теперь тебя больше нет».

II

Стихи,
написанные
в Уэльсе

* * *

Из окон виден задний двор
с гурьбой хозяйственных построек.
Стол, холодильник, пара коек,
лопата, грабли и топор,
четыре мусорных ведра
(здесь мусор сортируют сами),
верёвки с детскими трусами
и для кота в двери дыра.
У стенки печь для барбекю:
её в субботу разжигают
и радоваться заставляют
как бы Отечества дымку.

* * *

Бей сильнее в скалу, приливная волна,
прошурши-ка вдоль берега слева направо.
Поднимай растревоженный мусор со дна
и валяйся на пляже потом, как шалава.

Рано, рано купаться, но лезет народ,
понаехал на праздники из Бирмингема:
здесь дешевле, чем в Турции. Бледный живот
заголяет с утра шантрапа и богема,

чтобы к ланчу, скорее всего, обгореть
и укрыться в тени со своим бутербродом.
Полновесный прибой продолжает греть,
как простой механизм с перманентным заводом.

Так слова бы должны биться в каменный мол
и в горах громыхнуть и рассыпаться гулом,
но утеряны навыки — письменный стол
ждёт меня в кабинете с ноутбуком и стулом.

Ну, поменьше эмоций. Разумная речь
не дурней океанского супернапева.
Грохот слева направо, как на спину лечь,
а спиной загораеть — так справа налево.

* * *

Путь в гору занимает полчаса,
вниз, к морю, — вдвое меньше, что понятно.
Тропинка вымощена и опрятна,
по-фетовски в траве блестит роса.

Раскинулись широко гольф-поля
и пастбища, где грязные овечки
воспроизводят на спине колечки
региональной индустрии для.

Пока решаешь, этот ли искал
пейзаж или другой, неоднократно
то появляются, то исчезают пятна
белёсой пены в море возле скал.

Но есть тут одинокая скамья,
как, скажем, у Островского над Волгой.
На спинке надпись: «Посвящает долгой
и благодарной памяти семья

бедняги Тома Джонстона». Кто он
и почему вот так увековечен,
в чем отличился или чем отмечен
и был он — исключительный гандон

или, напротив, честный семьянин,
любил жену, детишек, утром — кружку
большую чая, не завёл подружку,
хотя и мог, и умер до седин, —

не всё ль равно? Я здесь и так сижу
по выходным в погожую погоду,
ем чабатту кислую, подолгу
гляжу на море и стишки твержу.

* * *

Рыдает чайка под моим окном,
пьяным-пьяна,
и невозможно больше ни о чём.
Ослеплена

добычей — распатронила кулёк
или мешок
и натаскала дряни на стишок,
шестнадцать строк.

Какие-то ошмётки, кожуру
(воняет, фу),
огрызки, корки — всякую муру
суёт в строфу.

На пристани китайский ресторан
разносит смрад.
Сегодня перевыполнила план.
Я даже рад.

* * *

Хорошо, начинаем с вопроса.
Как зовут вас и сами откуда?
Мы оттуда, где свежая роза
не живёт и двух дней почему-то.

Как давно здесь? Когда вам обратно?
Мы недавно, мечтаем подольше,
так что толком ещё непонятно.
Все упорно считают — из Польши.

Заполняются бланки, анкета.
Где свидетельство вашей оплаты?
Есть в растерянной жизни поэта
злополучный период цитаты.

Брюки белые, грязная майка,
по-дурацки в носках и в сандалиях.
Что ты плачешь, заморская чайка?
Что ты знаешь о наших печалях?

* * *

Кружится ласточка-валлийка
в неборимой высоте,
а ля гимнастка-олимпийка,
у неба в синем животе.

Мне всех подробностей не видно
полёта — лишь её одну.
Она спортсменка, очевидно,
и выступает за страну.

Я за страну не выступаю,
стою на кельтском берегу,
недальновидно поступаю,
но стыд, как песню, берегу.

* * *

Я поднялся на холм и увидел внизу
городок, что рассыпан, как хлебцы, из чашки
гор окрестных, залив и в зелёной рубашке
одесную мысок с маяком на носу.

Прямо передо мной, как хмельные, стрижи
проверяли с усердием ветер на прочность.
Не собрался бы дождь. Не утратили б точность
рифмы русские в милой валлийской глуши.

Где в обнимку малина и чертополох,
где без снега подснежники, в марте — нарциссы,
в плотных зарослях пели какие-то птицы,
стлался плющ по земле и проглядывал мох.

Я спустился с холма и увидел вверху,
оглянувшись, то место, где долго стоял я.
Там уже рваный дождь расстилал одеяло
и раскачивал ясень, и дуб, и ольху.

Всё смотрелось иначе: дождь заштриховал
и часовню, и кладбище на косогоре.
Если не принимать во внимание море
и овец по горам — предо мной был Урал.

* * *

У меня есть белый кабинет,
белый, как белёсый в окнах свет,
как палата в госпитале, как
для туберкулёзников барак.

Ничего на стенах, ничего
на столе, лишь лампочка его
в белом абажуре матовом
освещает вечером и днём.

Там моя больная голова
сочиняет длинные слова,
как профессор Доуэль живёт,
кислород из трубочки сосёт.

Если можешь — в гости приходи,
часик в кабинете проведи.
Сделай то, что силится башка, —
покрути ей пальцем у виска.

* * *

Ты ему: постой, погоди чуток,
почему болит голова, висок
наливается жарким с утра свинцом,
вот и в зеркале — что у меня с лицом?
Ты ему: бегут как вприпрыжку дни,
только утро было — уже огни,
и душа что старое решето,
почему? А он тебе: ну и что?

Вот, гляди, траву жуёт бегемот,
вот в реке урод крокодил живёт,
всем доволен целый сад-зоопарк,
слышишь: гав, мяу, хрю, фьюить, карк?
У меня в порядке слои небес,
у меня моря, реки, горы, лес,
и в траве, как тенор, сипит комар.
Чем торгуешься? Свой покажи товар.

Залив

1.

На набережной никого,
и в облаках недалгих, дальних,
печальных, перистых, прощальных
нагромождение всего.

Чуть-чуть добра, немного зла,
необъяснимо вперемешку.
Перед глазами жизнь прошла,
а только вышел на пробежку.

Какой из двух, какой из двух —
заёмный или музыкальный —
мотив всю жизнь терзает слух?
Час незабвенный? Берег дальний?

А может, всё наоборот
и нет конкретного мотива?
Залив, во тьме разинув рот,
лежит заведомо красиво.

2.

На фоне небольшой страны
висят штаны, рейтузы, майки.
Контейнеры разорены.
В ночи разбойничают чайки.

Вот так вот раскрошит висок,
с налёта клюнет, идиотка.
И вспоминается Хичкок.
И перевёрнутая лодка.

Какой там марки то авто?
И что в сюжете нелогично?
Зачем он не надел пальто?
Всё читано, тавтологично.

О чём, мой милый, ни пиши,
просвечивает тот мотивчик.
Ночь. Сан-Франциско. Ни души.
Красавица снимает лифчик —

ночь остаётся нагишом.
На море качка небольшая,
и в мелком небе вверх ковшом
лежит Медведица Большая.

Необъяснимо, как в кино:
ночь разворачивает кальку —
и зло бросается в окно.
Прибой перетирает гальку.

От чаек кругом голова.
За август остывает лето.
К плечу слетаются слова
неевропейского поэта.

Он всё забыл, что помнил. Всё
переиграл, что мог — исправил.
В счастливый погрузился сон
и подлинника не оставил.

3.

Смотрели мы одно кино.
Там белый домик у залива,
мол, пристань, лодка и окно
на океан. Волна прилива
всё возвращает. Что же там?
Нет, непонятно. Прихотливо
воспоминанье. Тарарам
сначала, а потом лениво
на спуске стрекотнул «Харлей»,
туристы заказали пиво,
и героиня прежних дней
(умна, решительна, красива)
берёт в аренду лодку, в ней
двух птичек в клетке перевозит
и девочке их преподносит
на именины.
Нет, тайком,
прокравшись, в доме оставляет,
а после в лодке наблюдает,
как брат на берег выбегает
и ничего не понимает,
в дом за биноклем забегает,
и выбегает, и потом
они знакомятся — юрист-
красавец и миллионерка.
В сюжете потайная дверка?
Иль гения кинокаприз?
Нет в этом никакого смысла,
и полкино уже прошло.
Но что-то мрачное нависло,
как сквозь кристалл, как сквозь стекло.
И мелодрама обрывает

дурной сюжет и заставляет
подозревать уже кошмар,
смерч, наводнение, пожар.
И — точно. Агрессивно чайка
снижается, как мессершмитт.
Ага, ага, да их там шайка
на проводах уже сидит!
Сидят, с несчастной глаз не сводят.
Да, что-то явно происходит.
И в самом деле — что, что, что?
Диск заедает, ночь проходит,
и настроение не то,
и недосмотрено кино.
И прошлое — неаккуратно,
и будущее — непонятно,
и настоящее — смешно.

4.

Четырёхстопным ямбом память
мгновенно заполняет блог,
есть у неё привычка спамить.
Пока ты не вполне оглох,
не облысел, не обеззубел,
не лёг, как карандаш в пенал,
не проиграл, не вышел в супер-
финал
и там, в стандартнейшем финале,
не потерял логин, пароль
(допустим, «тили», «трали-вали»),
прими на счастье бандероль,
слепяще-белый отпечаток:

уральский майский ясный день,
двенадцатизатяжки тень.
Выходят с гробом, без перчаток.
Слепой, засвеченный на треть,
непрофессиональный снимок
рябинок, кладбища, поминок
не позволяет разглядеть.
Он видит только небо, горы
и в море отраженье гор,
невозмутимые просторы,
летающих тучек разговор.
Одна отстала на беду
и долго снизу розовела,
ждала, как будто бы в виду
нечто конкретное имела.

На мотив Щиrowsкого

На голом пляже, где воняют водоросли,
где хорошо готовить барбекю,
куда обломки рыболовной отрасли,
давно уже лежащей на боку,

выбрасывают чайкам на съедение
тухлятину, сегодня ни души.
Сверни давай своё природоведение,
о чем-то злободневном напиши.

Ну, скажем, так: в России власть в прострации
и разогнали несогласных марш,
свободы подвергаются кастрации,
из населения производят фарш

усилиями тележурналистики.
Нет, лучше равнодушный говор волн!
Пусть в поднебесье ветер знакомый листики
колеблет, воеет двухмоторный чёлн

и сладкий голос Бейонсе, Мадонны ли
заманивает вечерами в клуб
с туземными тупыми примадоннами
твой небольшой голубоглазый труп.

* * *

Пойдём, пусть второсортная погода,
в пол-окоёма взбухшая гроза,
пусть половинка облака-урода
холмам, как кепка, лезет на глаза.

Дойдём вдвоём до моря — глаз успеет
увидеть, как там выключают свет,
как напоследок солнце пламенеет,
за две минуты чтоб сойти на нет.

Как на пустой веранде ресторана
худой британец жадно пиво пьёт.
На белых брюках кровенеет рана,
и горизонт разрезан, как живот.

За окнами своя драматургия —
тень игрока отключивает кий.
Я говорю: морская хирургия
кровопротитней прочих хирургий,

хоть всё заканчивается без скорой
при безучастном свете фонаря
на влажной набережной, над которой
срастаются багровые края.

* * *

Мальчик приносит маме камушки необычных оттенков.
1985-й, Крым, Алушта.
Море без остановки снимает пенку.
Наверное, волнуется потому что.

Галечный пляж, полоса прибоя.
Мы на этом пляже навечно двое.
Поедаем мороженое с черникой —
мама с мальчиком, мальчик с книгой.

Белеет парус, одинокий качает катер,
в кипарисе ветер плетёт интригу.
Залив на закате словно бычки в томате.
Мальчик с книгой, иди-ка в книгу.

* * *

Где жажду лечат сидром, а не квасом,
где грязный мол к ударам волн привык,
где чайка со своим боезапасом,
визжа, пикирует, как штурмовик,
где автомат в полиции устало
захлопывает дверь от сквозняка,
где облака над городом, как сало,
наструганы к дождю наверняка,
где я не знаю утром, пробуждаясь,
куда меня безделье заведёт,
и в словаре, как в чемодане, шарюсь
и рифмы подбираю наперёд,
где климат predetermined погоду
бездарную на много дней подряд,
благодарю тебя, хоть за свободу,
как за лекарство, не благодарят.

* * *

Бесчинствуют чайки. Воняет отлив.
Пронесются байкеры. Жарятся стейки.
Транслирует радио модный мотив.
С улыбкой слепая сидит на скамейке,
свой сэндвич и колу доев и допив.

Я знаю её — в восемь сорок утра
она забирается в школьный автобус,
с расправленной тростью, похожа на глобус
в очках голова, предъявляет свой пропуск,
и татуирована змейкой икра.

Идёшь, извлекаешь печаль из всего.
Задёрнуты шторы на третьем в квартире.
Два семьдесят брекфаст и ланч за четыре.
Звук, запах и трость раскладная — о мире
ну что она знает? Почти ничего.

Что чайки голодные громко орут,
что справа трындят мужики по-валлийски,
что путь до автобуса очень неблизкий,
что лист можжевельника пахнет не виски,
а джином, что триста шагов — пять минут.

А я? Что я знаю? Что катер идёт,
что море пылает, сетчатку сжигая,
что, дико и страшно открыв детский рот,
с улыбкой встаёт со скамейки слепая,
что эти стихи никогда не прочтёт.

* * *

Полночь в Уэльсе. На том берегу
цепь огоньков образует дугу.
Небо в попкорне просыпанных звёзд.
Пара медведиц встаёт в полный рост.

Это холмы. Начинает расти
чувство, как в хорроре: мир не спасти.
Вот замигал от волнения маяк.
Вот замигал от волнения маньяк

на целлюлозном рассвете афиш.
Барышню — в кровь. Из бойфренда — кишмиш.
Всё образуется — не говори.
Всё отвратно. Дальше смотри.

Их поменяли местами. Двойник
в самое сердце аббатства проник.
Крест похищают. Зарезан аббат.
Бьёт журналист-алкоголик в набат,

только инспектор не верит ему.
Значит, придётся ему одному
мчаться спасать из узилища дочь.
Полночь. Тиха европейская ночь.

Выйдем — над морем волнуется твердь.
Нам показали, как выглядит смерть,
как она брызгает кетчуп в лицо.
Джейми Ли Кёртис снимает не всё.

* * *

Июль. Двадцать второе. Не стихи?
В саду, как облака, раскрылись розы.
Всегда хотелось срифмовать «тихи».
Я знаю, знаю, все слова из прозы.

Да, руки короткие. А нужно — «короткий».
И тяжесть, тяжесть в голове чужая.
Да, облака, а нужно — «облаки».
Небесная, а нужно — «небесная».

* * *

Обязательно дальние страны.
Пусть болит от стихов голова,
пусть проводят свои караваны
облака над холмами, едва
различимые дальние пики
возвышаются, словно во сне,
пусть, как лазер, слепящие блики
жгут сетчатку на голубизне.
Взгляда не отвести от приборя.
Чайки жадные вахту несут.
«Всё, что будет со мной и с тобою,
я узнал за пятнадцать минут», —
говорю на заброшенном пляже,
где ракушки, зыбучий песок,
ветер в дюнах протяжен, где даже
бой с минувшим не слишком жесток.

* * *

Он нажимает кнопку светофора
и, крылья пряча, робко ждёт сигнал.
Ну, подними глаза. Зелёный скоро.
Скажи, мой милый: что ты там узнал?

Что будет там, за гранью разговоров,
после врачей, милиции и слёз?
Не так, как здесь, в ограде, у собора?
Не так, как там, среди крестов и звёзд?

* * *

Мир несётся к пропасти — это ясно, ясно.
Кризис, извержения, нефть хлбыщет в море.
Никакой иронии. Гибельно, ужасно.
Террористы, засуха, человечье горе.

Друг ты мой единственный, будем веселиться:
есть стихотворения, есть кино и книги.
В миг всеобщей гибели горько насладиться
тем, что не предаст тебя. Так намой клубники,

выброси неспелую, нет в ней усладженья.
Модных виноградарей брезгуем бурдою:
только приснопамятных мастеров творенья,
только старой выдержки пьём вино с тобою.

С ним сильней забвение, в нём блаженство гуще.
Время так завистливо — будем с ним игратьсь.
Не тоскуй. У вечности день мимобегущий
вырывай. Так учит нас дезертир Гораций.

* * *

Нет чудес на свете. Тикают пружинки,
такают пружинки, усики в часах.
Прилетают правильные нежные снежинки,
метко приземляются на белых листах.

Сверху им, наверное, виден целый город:
распустился лепестками, сереньким цветком.
В высоте арктический пронизывает холод,
внизу хлещут гейзеры ржавым кипятком.

Всё равно снижаются, падают и тают.
У снежинки маленькой вечность коротка.
Так и умирают, бедные, не знают:
сочинила их в тетрадке одноклассницы рука.

Разбирать каракули, корябушки, козявки?
Нет, увольте, коллеги, подите в.
Сказано в античности — все мы суть пиявки.
Валяются снежинки, ах, в яблочко Москвы.

Мне шестнадцать, граждане. В Свердловске — лето,
пыль и радиация, больше ничего.
Все мои приятели — гении, поэты.
Просто человека — нет ни одного.

* * *

В час, как на остановку с вечернего чёрного неба
падал тот, что мне рифма,
у соседей с четвёртого горько расплакался бэби.
Жжёт фонарики фирма

под названием «Аккумуляторы и автодиски»
на крыльце у подъезда.
Запирает киоск продавец старомодного диско.
Дальше ждать бесполезно.

Бесполезно и поздно. Её там никто не отпустит.
И трамвай не приедет.
Отойди от окна. Эта жалость расчётливей грусти:
убивает и медлит.

...Но расстроенный мальчик соседский уснул, оказалось.
Сердце как-то разжалось.
Всё трамвайным узлом за окном навсегда развязалось.
Ничего не осталось.

* * *

Лети, мотылёк, лети, мотылёк,
на новую лампу.
Чтоб ты опалить свои крылышки мог,
железную лапу

перпендикулярно к окну обращаю,
а скорбную требу
сейчас отслужить по тебе попрошу
старушку Евтерпу.

Она не заплачет, что ей мотыльки?
Ей, в общем-то, пофиг,
что люди, что птички, что в речке мальки.
Подумаешь, подвиг.

Упейся блаженством, коль близится срок,
от гибели млея.
Лети, мотылёк, лети, мотылёк,
на лампу «Икея».

* * *

Ту звезду...

Ранец тот, гэдээровский, что мне отец привозил,
тёмно-синий, с замком-отражателем, из олимпийской Москвы,
что я быстро порвал и который я очень любил,
не найти ни в каких уже комиссиях, увы.

В эту школу, где слушали трепетно группу «Кино»,
«Наутилус Помпилиус», в дружбе клялись навсегда,
с математики лихо с монеткой сбегали в окно,
чтоб обратно запрыгнуть уже с пирожком, — никогда.

* * *

Допустим, пейзаж: ресторан и гараж,
и с заднего входа
выходишь на сумрачный северный пляж.
Какая свобода!

О чём ты? Кто знает. У каждого свой
молчок, и обиды,
и страх, и растерянность с горькой виной.
Всяк видывал виды.

Но, если задуматься, то ничего
другим не известно.
И мысль изреченная слаще всего
солжёт вне контекста.

И молча стоишь на пустом берегу,
в песке утопая.
И птица замёрзла, сидит, ни гу-гу.
Ну, птица тупая.

* * *

На площади круглой на тумбе стоит
живая скульптура.
С мечом и в накидке, сурово глядит.
Ну, здравствуй, культура,

наив европейских больших городов.
Бросают монетку —
актёр оживает и к фото готов.
Снимают брюнетку.

За столиком справа понуро сидит
фигура поэта.
Пьёт кофе и мысленно небу грозит.
Плевали на это

туристы-жадюги. Гурьбою идут,
обходят толпою
болвана в очочках, сидящего тут
с бессмертной душою.

* * *

Рецепты, карточка в пакетике.
Трясутся руки, льётся пот.
Вот скажут в тесном кабинетике,
что жить тебе, допустим, год,
тотчас забегаешь, запрыгаешь,
забьёшься мухой по стеклу,
но к сроку лапками задрыгаешь
на койке или на полу.
Ну а не скажут, отделение
покинешь с новой тоской,
как будто друга в окружении
оставил иль не принял бой.
Так хочется посмертной сложности?
Или достала пустота?
Живи. Реализуй возможности.
Европа. Лето. Лепота.

* * *

Скажи мне, что я Ёж, скажи мне, что я Кот.
Скажи мне, что я гном, малыш и обормот.
Что есть ещё любовь, что не застыла кровь.
Погладь моё лицо. Разгладь дурную бровь.

Поправь колючий шарф, как будто ухожу.
Спрячь шарф в прихожей в шкаф, как будто прихожу
с работы, из цехов, с какой-нибудь войны.
Нет никаких стихов. Нет никакой вины.

Я безалаберный, но тот, кто всем сказал:
«Я провожу её», — и правда, провожал
до дома, до дверей, до комнаты твоей,
до самого конца, до близкого лица.

* * *

Обойдёмся без ярких метафор,
отряхнём эту пыль с наших строк.
Просто ночь, звёзд рассыпанный сахар,
полумесяца утлый челнок.
В Марсаламе спокойно, и слышно:
из динамиков всех муэдзин
созывает. Всё бедно, но пышно.
Сувениров смешной магазин
освещает площадку отеля
и холодный глубокий бассейн.
По утрам за неделей неделя
мусор в нём убирает Хусейн.
Он в хлопчатобумажной хламиде,
у него есть сачок, телефон.
На весь мир в беспокойной обиде
не орёт поэтически он.
Не преследует бойкую рифму,
не стремится душой за мечтой,
и не служит вселенскому ритму,
и смеётся, турист, над тобой.

* * *

Плыви, крупнотоннажная луна,
немножко тяжело, немножко криво.
Как рифма в рифму тяжко влюблена
и пальма в пальму по краям залива.

Тебя расчислил горе-геометр,
тебе одной двойник не предусмотрен.
Но тихо сходит ночь, стихает ветер,
и на воду ложится круглый орден.

Классический мерцающий двойник,
умалишённый, белый, безобразный.
Так я к тебе, к твоей душе приник,
колеблющийся и на всё согласный.

* * *

Темнеет рано. Осень словно вор.
Во тьме играют дети возле школы.
Роняет парк свой головной убор —
вот он и голый.

И плоский Балэм, сколько видит глаз,
заледенел в огнях горизонтально,
но я в колонке зажигаю газ,
и всё нормально.

И утром в пеших облаках висит
(мир не прекрасен, но небезнадёжен)
такой простой, наивный реквизит,
что Он — возможен.

* * *

Когда я был студентом волосатым,
я долго спал
на хлопковом, крахмальном, полосатом.
Я упускал

рассвет после плохой общажной водки,
рок-децибел
и бледен возникал на остановке,
и день был бел.

Теперь встаю спокойно в полседьмого,
включаю душ,
на ранней зорьке выхожу из дома,
примерный муж.

Вперёд к победе зла, капитализма.
Сомнений нет.
Но каждый день мне эта укоризна —
рассвет, рассвет.

III

СТИХИ

1998—2008

* * *

Родная речь, отойди от меня,
поди прочь, не приближайся ко мне,
я боюсь сейчас твоего огня,
между тем сгораю в твоём огне.

Так садится покойник, почти встаёт
в крематорской печке, зовёт рукой,
открывает рот и почти поёт.
Что со мной, что со мной, что со мной?

2000

* * *

Ещё на закате за рощей
проводят багровый разрез —
в ночи через полночь и площадь
тревожный летит мерседес.

Давно расступается местность,
окраины, пригород, плёс,
а он оглушает окрестность
нервическим визгом колёс.

В холодном молчании ночи,
нагретым мотором вedom,
он светит в звериные очи
бессонным своим огоньком.

Накурено, душно, и ясно,
что к чёрной баранке приник
мой злой, гениальный, опасный,
мой самый прекрасный двойник.

1998

* * *

Малина и сосны, немного рябин,
ограды, надгробья и звёзды с крестами,
немногими, впрочем, — печальней картин
не много найду за моими плечами.
Я друга здесь похоронил. Выше сил.
Ну что мне поделать, что с этим поделать?
Когда бы я пил, я бы точно запил.
Однако не пью. И волною по телу
стыд. Стыд, что не спас, не прикрыл, не сумел
сказать, что был должен сказать, не казался
приветливым, что ли, был бледен как мел,
когда ты победно и зло улыбался.

2001

* * *

Один свалился из окна,
другой, повесившийся на
окне, мне никогда не снится,
от третьего ушла жена,
что ж мне, молиться?

На подоконнике жасмин,
я задыхаюсь вместе с ним,
мне кажется, что я четвёртый —
лежу, заплаканный и мокрый,
холодный, мёртвый.

Но это сон. А между тем
я стал герой его поэм
в глазах литературы,
и меж обыкновенных тем
и жёсткой арматуры

стиха и рифм, базару нет,
стою во цвете лет, поэт.
И вместе с расширеньем рамок
поэзии я превращаюсь в лёд
и мрамор.

* * *

В баре «Сухой закон»
мне никто не закон.
Я — дилетант, не лидер.
И поэтому в трезвом виде
поминаю друзей погибших,
не любивших меня, любивших,
но достойных большой любви.
Се ля ви.
Городок наш из тех чистилищ,
где не светит доплыть до реки
Невы, не доехать до Гринвич-Виллидж.
Потому что стихи — грехи.

* * *

Нет интереса? Сочиняй,
воспринимай себя буквально,
метафорой пренебрегай,
все прочее не гениально.
Учись, и стань совсем другим,
чужим, ненужным и безвестным,
как эти тучи — серым в дым.
Естественным, неинтересным.

* * *

Та, о ком он писал: невозможно,
та, о ком он, возможно, писал,
из неверной ушла осторожно
слишком сложной системы зеркал.

Что осталось? А то и осталось.
В примечаниях тоже вот нет
точных сведений, только усталость,
некий трансцендентальный привет.

* * *

Нормально. Из дворика наверняка
мы выйдем в большую аллею.
Проходит с усилием товарняка
и вправду товарный за нею.

Стена тополей и ж/д полотно.
И неба растянутый ситец
висит за домами, а им всё равно,
чего он там был очевидец.

* * *

Вяземский князь ложится спать.
Ничего не снится ему.
Всё просто: тумбочка и кровать,
две книги лежат на полу.

Вяземский князь — он ленивый князь,
да и не князь вообще никакой,
а за то, что в ипохондрии князь увяз,
ни волю не получит он, ни покой.

* * *

Когда бы я один любил печаль и грусть,
так я бы никогда не сделался печальным.
Печален только я? Ну что же. Ну и пусть.
Зато весь мир поёт в порыве беспечальном.

Но посмотри-ка сам, как грустен мир на вид,
осенние леса особенно унылы,
и птица быстрая невесело летит,
и облако летит печально, что есть силы.

* * *

Старуха-жизнь со мной играет в прятки,
а я её за это не люблю,
то сотовый спрячет, то перчатки,
то где-нибудь допустит опечатки,
а я потом неловкости терплю.

Ещё одна задача у досузей:
следить, чтобы не получался стих —
к примеру, этот; чтоб любимым мужем
не стал Леиле, никому не нужен,
сидел бы дома, горестен и тих.

Судьба рассчитывает: я не справлюсь.
И я не справлюсь, но не с ней, с собой,
когда далёко из дому отправлюсь,
найду перчатки, сотовый, исправлю
ошибки в гранках, «бог» на «боже мой».

Не думал я однажды человеком
быть перестать, а сделаться лицом
с предательски — вот так — дрожащим веком,
лысеющим женщиною Олегом
в традиционном зеркале пустом.

Полонский, помнится, про няньку злую
повествовал и Ходасевич пел
о зеркале известное... Впустую,
предупреждали гении, рискую.
Да, я, увы, не этого хотел.

* * *

Е. Тиновской

В предотъездной тоске сверхпромышленный город
озираю стою,
но его абсолютный лирический холод,
Лена, не воспою.

Даже эти кварталы, аллеи, вокзалы,
даже мини-метро,
где уборщица с надписью «РОЗЫ ОТ АЛЛЫ»
потатила ведро.

Я любил все его рестораны и бары
и сегодня люблю.
В каталог помещу их прапамяти, лары
щедростью подкуплю.

Где похож на талантливое и живое
был, потом непохож,
а затем вновь похож, но убого, убого.
Но не ворон, не нож.

Подмывало сходить в казино с ползарплаты,
но так и не ходил.
Негасимый рассвет ноль седьмого ноль пятого
на века наступил.

* * *

Мне сегодня тридцать лет.
Не вернул ещё билет.
Мирно кушаю обед.

Занимаю свой шесток.
Мир по-прежнему жесток.
Сочиняю восемь строк.

Впрочем, девять раз «ку-ку»
по такому пустяку
тоже можно пареньку.

* * *

Когда в природе тишина,
у пальм антропоморфный вид,
отсюда точно не видна,
над Турцией звезда горит.

«Мераб, — мне говорит звезда, —
эй, тешекер, друг, эдерим,
ничё, что по-турецки?» — «Да,
давай хоть так поговорим.

Здесь стало, друг мой, не фонтан». —
«А здесь подавно, друг, сквозняк». —
«Обозреваешь много стран». —
«Ты можешь трогать каждый знак». —

«А ты со звёздами болтать». —
«Есть, спать, дышать, на грудь принять». —
«Ты — свет ронять». — «Жену обнять». —
«Мне не понять». — «Увидеть мать.

Зовут меня...» — «Тебе пора?» —
«Там всем передавай привет». —
«Так удалась твоя игра?» —
Турецкий ангел гасит свет.

* * *

Когда дождливое, сырое
преобладает за окном
и исключительно дурное
по телевизору кино,

когда с утра похолодало,
а к вечеру тепло опять,
но этого, как прежде, мало,
давай Тарковского читать.

Есть у него шестнадцать строчек,
я их по-прежнему люблю,
я их без всяких проволочек
в осенний сумрак протрублю.

Ведь если абсолютно скверно,
то не поможет болтовня.
А за рифмовку чётных в первом
не он одобрил бы меня.

Ars poetica

Александр Леонтьеву

Когда четырёхстопным ямбом
долдонит муза по мозгам,
когда икеевская лампа
лучом стреляет по глазам,
не буду врать, что нету денег
(к чему художественный свист?),
что романтический бездельник
установился на чистый лист
мерцающего монитора,
что там стихи, а раз стихи,
то башли, видимо, не скоро...
Всё это вроде чепухи.
Но если так, пора на службу!
Писать от двух до четырёх
элегий в месяц, к чёрту дружбу
с девяткой встрёпанных дурёх.
Смирись, всё это, в общем, тоже
есть форма жизни на земле,
где ты прохожий, а прохожий
мечтает только о тепле.

* * *

Несу вдоль сообщения «Рома —
козёл» помойное ведро.
Стихи записываю дома,
а сочиняю их в метро.

О, здесь меня никто не знает,
я совершенно одинок.
Четырёхстопным ямбом занят
в мозгу последний уголок.

А почему четырёхстопным?
А потому что Владислав
Фелицианович подобным
качнул в зашоренных мозгах

не перья страуса склонённые,
не очарованную даль —
метро вагона окна тёмные
и безупречную печаль.

* * *

А ты живёшь свою подробную...

Живу в Перово нехерово,
в хрущёвке, в первом этаже,
спросонья различаю слово
прохожего и страх в душе.

Иду в облупленную ванную —
одновременно туалет,
живу свою пустую, странную
и ем пельмени на обед.

Всё это ради экономии
душевных сил, духовных средств,
а вовсе не из антиномии
души и тела, тьмы и звезд,

метафизически оправданной,
онтологически простой,
порой ритмически предзаданной,
порой лирически пустой.

* * *

Ёжик и божья коровка,
две черепашки — фарфор.
Есть меховая тусовка:
заяц, мартышка, трезор.

Есть симпатичный лосёнок,
впрочем, он мне надоел.
Видел сегодня спросонок:
на пианино сидел.

Впрочем, из всей камарильи
он-то единственный мой,
а не жены: подарили
на день рожденья. На кой?

Он одинок и несчастен,
взор его мрачен и сер,
словно лосёнок причастен
к кукольной музыке сфер.

* * *

Когда я музыку не слышал,
когда мелодия спала,
а я из молодости вышел,
где ты была, где ты была?

Куда летала, с кем сидела
за полной рюмкой и столом
с настольной лампой, в чьи глядела
тетради, оживала в ком?

Чьей старой пишущей машинкой
или компьютером была,
к кому стучалась в дверь ошибкой,
кому звонила от угла?

Забей мой номер телефона
в свой краткий список, и тогда
растяпой, как во время оно,
клянусь, не буду никогда.

Я сын сплочённого союза
кондовости и глухоты,
снобизма трезвого, но, муза,
я не прощу тебе, что ты

другого не остановила
и не меня на смертный бой,
трезвеющего, вдохновила
и бросила во тьме сырой.

Из окна

Воспламенён над средней школой
меланхолический закат.
Мелькают дети с кока-колой,
друг с другом матом говорят.

А так как я живу на первом
пяти хрущёвских этажей,
то мне всё это бьёт по нервам
почище пьянок и бомжей.

И, слушая подростков речи,
я трепещу: мои стихи
так целомудренно-беспечны,
так непорочно-высоки.

* * *

Что-то не снятся ни Рома, ни Боря.
Я виноват перед вами, не спую.
Думал, что умный, а вышел дурак.
Круглый отличник, я удалён с поля
двоечниками, впусившими рак

стихослагательства в кровь, пацанами,
что поднимали стихами цунами,
что понимали друг друга на раз,
гнали волну, натолкнулись на камень
низеньких гор, тектонических масс.

Воспоминание дарит картины:
лужи в разводах кладбищенской глины,
ветви рябин, самолётिका нить
в небе, снежок на побегах малины.
Всё это мне никогда не забыть.

Был я помладше, а выглядел старше.
Форменный зритель, зевака, на марше
зрящий идущих на гибель солдат,
тех, что исчезнут в бессмысленном фарше
и населят поэтический ад.

Есть у истории литературы,
тётки медлительной, хоть и не дуры,
тип наблюдателя. Он для меня.
Я очевидец убитой культуры,
страж, ископаемое и родня.

* * *

В Петровском парке люди и машины
и никаких тебе самоубийц.
Ну что ж, ну что ж. Ошибся Ходасевич.
Два-три собаководы на поляне
выгуливают каждый своего
четвероногого товарища. Укусит?
Нет, не укусит. Слишком занят делом
своим собачьим. Важные дела!
Подробен разговор собаководов
о корме, вязке, дрессировке. А
вверху переговариваются
бесчисленные чёрные папахи
ворон. Аллеями автомобили
бегут. Парк состоит из островков
травы, кустов, асфальтом отделённых
друг ото друга. Очень скучный парк.
Здесь нет скамеек и пенсионеров,
мамаш с колясками и выпивох.
Здесь не сдаются нормы ГТО,
влюблённые здесь встреч не назначают.
Парк очень тёмный, потому что кроны
плотнейшие у пожилых деревьев —
тяжёлых лип, дубов и мрачных вязов.
А в общем-то вполне нормальный парк.
Удобен ли он для самоубийства?
Я не берусь судить. Пожалуй, да.
Хотя б в том смысле, что, раз уж задумал
всех напугать и удивить изрядно,
то лучше уж действительно сюда,

тем более когда уж всё равно,
как, чем, при ком, чего посредством, где
разыгрывать безволия спектакль.
Ведь суицид есть равнодушие
и злость. Собаководы помешают?
Они не помешают никогда.

* * *

Днём в два часа уснуть на два часа,
сокрыться от жены, сбежать с работы.
Во сне узрев иные чудеса,
спросонья не определяешь, кто ты.

Забыть на самом деле, как зовут,
и перезаписать воспоминанья.
Жизнь развернётся медленно, и тут —
реальность одеялья и диванья.

Диван продавлен, что судьба, давно
двумя телами, сплющена подушка,
и надоевший ломится в окно
пейзаж, и жизнь томит, как постирушка.

* * *

По семнадцатым числам плачу за квартиру
и гармонию не обретаю в труде,
трижды в месяц беру утомлённую лиру
веса среднего, спящему граду и миру
втихомолку бряцаю назло ерунде.

Тень моя проезжает на таксомоторе,
и уста отверзает мне ангел метро,
нищий, с невыразимой тоскою во взоре,
он безногое символизирует горе
и просящую руку суёт под ребро.

Вот расплакался бы от обиды Некрасов,
возвестил о возмездии правильный Блок,
и Решетников целую кучу рассказов
сочинил отвратительных, даже Саврасов
написал бы несчастье народа как мог.

Захотел быть поэтом? Ну, хватит об этом.
То ли долг, то ли бизнес, а может быть, спорт.
Я воспользуюсь лучшего друга советом
и планирую к морю отправиться летом
плавать и загорать до разрыва аорт.

Я молчу и скрываюсь, что тоже немало.
Переехал в Москву, отошёл от корней
и глаголом в двенадцатой книжке журнала,
чтоб Тиновская сильно не переживала,
веселю образованных полудрузей.

* * *

Ради однокомнатной квартиры
тяжело трудиться десять лет.
«Ах, прощай, бряцанье праздной лиры,
я теперь рабочий, не поэт», —
сетовать. Из молодости выйдя,
распрощаться с радостью навек.
В зеркале — ланиты, очи, व्या.
«Здравствуй, ординарный человек», —
умываясь, бреясь, чистя зубы,
по утрам приветствовать его.
Заменить проводку, ванну, трубы,
раковину. Больше ничего.
Творческую накопить усталость.
Распахнуть окно в убогий сад.
Если бы всё это написалось
не сейчас, а десять лет назад!

* * *

Оторопев, завидовать смертельно
самоорганизации дождя.
Из этих, набухающих отдельно,
родится скоро общее дитя.

Есть абсолютность некая в природе,
есть сумма черт, конкретность, прямизна
в любом произведённом ей уроде,
в любой сосне есть дерево, сосна.

Нет относительности, а одно баранье
в предмете каждом равенство себе.
А тут банальность, лень, самокопанье,
марш похоронный, жалобы судьбе.

* * *

С конца чужой войны четвёртая весна.
Снег по-саврасовски на полдороге к морю.
Очнись, как богатырь от сказочного сна,
в котором горе.

Жги, будто жизнь прошла. Да, в общем, и прошла.
Забыть нехорошо, а плакать неприлично.
Один ты знаешь, где запрятана игла.
И чистый воздух остр. И дышится отлично.

Сонет

Я подключал стиральную машину
субботу напролёт. Загвоздка в том,
что осложнял понятную картину
изгиб трубы под непрямым углом.
Мне надлежало врезать разветвитель
и подвести подводку к той трубе,
но той трубы мешал изгиб мучитель-
нейший, как поворот в чужой судьбе.
Олег, за поворотом, всё возможно,
твержу себе, окажешься в раю,
раз в жизни поступи неосторожно.
Промучившись полдня, осознаю,
что сложно обойти его, но можно.
Стою в раздумье бездны на краю.

* * *

В Эрмитаже и Лувре, Британском музее,
слава богу, есть лавочки. Быстро кося
от японских туристов и школьных красот,
закрываю глаза и секунд на шестьсот
отключаюсь. И вижу такую картину:
сосны, майскую нижеисетскую глину,
что мне снится уже пятилетку, заметь.
Ненавижу искусство? Хочу умереть?

* * *

Накарябать великий роман,
на худой конец — хрупкую повесть.
Зависть, дружба, любовь и наган.
Смерть героя и чистая совесть.

В тридцать лет возвращаешь билет —
глядь, последняя касса закрыта.
Хмурым утром сварганишь сонет —
строк четырнадцать, сердце разбито.

Поздно, поздно. Святое нытьё.
Никому оно на фиг не нужно.
Нужно слово. Любое. Своё.
По возможности чтоб ненатужно.

Нет, чужая какая-то грусть,
интонация, темы, мотивы.
Лучше в прошлое снова забьюсь,
где мы все гениальны и живы.

Самолётик по небу летит.
Клонит лирика в честную прозу.
Дай мне, муза, последний кредит —
злые мысли и чистые слёзы!

* * *

Заката отсветы красивы
меж облетающих осин.
Вот — дети страшных лет России
идут в ближайший магазин.

А после — вон из магазина,
пути не помня своего.
И слышно у подъезда: «Зина,
открой!» И снова ничего.

Страсбург

У ангела в руках песочные часы.
Другой даёт сигнал с потешною гримасой.
Смерть костью шевелит — поберегись косы!
Но полдень, и петух три кукарекнул раза,

фигурки двинулись по кругу. Поворот —
к воскресшему Христу апостолы подходят,
часы двенадцать бьют, и разевают рот
туристы праздные и с кукол глаз не сводят.

Ага, понравилось. Всё разглядеть хотят,
сфотографировать, осуществить программу.
Не думайте, что нас вот так же воскресят.
Нам сдохнуть предстоит и провалиться в яму.

Ни жирной колбасы, ни девичьей красоты,
и триллионы лет в заплёванном бараке,
чтобы песочные перевернул часы
в апсиде ангелок и свет зажжёт во мраке.

* * *

Женщины стихов не понимают,
врут, что понимают, да и врут
от непонимания, читают,
но не понимают. Только лгут.

Так я думал, но потом я встретил
милую, прекрасную тебя,
строфы перечитывала эти,
сердцем принимала их, любя.

Жизнь прошла. Я снова не уверен,
только не в способности понять,
в точности, с которой был измерен
срок прозренья. Надо объяснять?

Амстердам

Здесь каналы вправду бесконечны,
посмотри, они идут кольцом.
Это значит, предстоит нам встреча,
встреча предстоит, к лицу лицом.

Что тут скажешь? Видишь, у собора,
в барчике — ровеснике Петра,
всё как прежде. Заходи, и скоро
не поймёшь, где нынче, где вчера.

Если есть у господ пространства,
где мечты за деньги отдают,
я б купил голландское гражданство
после смерти, но не продадут.

* * *

Переворошу стихотворенья.
Я их сочинил сто лет назад.
Сразу возникает подозренье,
но в подобных случаях молчат.

Где-то слишком густо, где-то пусто,
тут не я водил моей рукой.
Незнакомое приходит чувство
полного спокойствия, покой.

Что я вечно жался да боялся —
вдруг в окно увидят, что курю?
Всё равно куда хотел пробрался,
ничего не страшно, говорю.

* * *

В египетском заныла голова,
а в греческом так ноги заболели,
что, милые товарищи, едва
доковылял до Рима, в самом деле.

А нечего, блин, жадничать. Иди,
Вермеера найди отдельный зальчик
и там одну картину погляди,
гордясь самим собой, культурный мальчик.

И правильно. Ведь что есть красота
и почему все на неё глазуют?
Музей она, в котором пустота,
или поэт, гуляющий в музее?

* * *

Я закрываю магазин стихов
и открываю магазин несчастий,
зла, общечеловеческих грехов
и прочего по данной части.
Я покупаю старые долги,
храню несовершенные победы,
и если я торгаш, то помоги
моей торговле, приноси мне беды
и бедствия. Ну а потом беги.

Содержание

Владимир Гандельсман. О поэзии Олега Дозморова3

I.

«Снова о гибели? Был уже мальчик...»	8
«...учиться реагировать на мир...»	9
«Друзья, вообразите сцену...»	10
«Ну что за день двадцатое апреля?..»	11
«А что случилось? А собственно, ничего...»	12
«Словно Пьер, понабравшийся мудрости у народа...»	13
«Поедем, я готов. В тот край, где облака...»	14
«Куда, куда вы удалились...»	15
«В сущности, всё неважно. Неважно, в общем-то, всё...»	16
«Приветствую. Уже часов с пяти-шести...»	17
«Между людьми одна высокая стена...»	18
«Лёгкий дождь — и, несмотря на осень...»	19
«Лучшие умирают, и остаёмся мы...»	20
«Поедатель культур в книжный, что на Тверской...»	21
«Мальчик сообщает собаке, что она собака...»	22

II. Стихи, написанные в Уэльсе

«Из окон виден задний двор...»	24
«Бей сильнее в скалу, приливная волна...»	25
«Путь в гору занимает полчаса...»	26
«Рыдает чайка под моим окном...»	28
«Хорошо, начинаем с вопроса...»	29
«Кружится ласточка-валлийка...»	30
«Я поднялся на холм и увидел внизу...»	31
«У меня есть белый кабинет...»	32
«Ты ему: постой, погоди чуток...»	33

Залив	34
На мотив Щиrowsкого	39
«Пойдём, пусть второсортная погода...»	40
«Мальчик приносит маме камушки необычных оттенков...»	41
«Где жажду лечат сидром, а не квасом...»	42
«Бесчинствуют чайки. Воняет отлив...»	43
«Полночь в Уэльсе. На том берегу...»	44
«Июль. Двадцать второе. Не стихи?...»	45
«Обязательно дальние страны...»	46
«Он нажимает кнопку светофора...»	47
«Мир несётся к пропасти — это ясно, ясно...»	48
«Нет чудес на свете. Тикают пружинки...»	49
«В час, как на остановку с вечернего чёрного неба...»	50
«Лети, мотылёк, лети, мотылёк...»	51
«Ранец тот, гэдээровский, что мне отец привозил...»	52
«Допустим, пейзаж: ресторан и гараж...»	53
«На площади круглой на тумбе стоит...»	54
«Рецепты, карточка в пакетике...»	55
«Скажи мне, что я Ёж, скажи мне, что я Кот...»	56
«Обойдёмся без ярких метафор...»	57
«Пльви, крупнотоннажная луна...»	58
«Темнеет рано. Осень словно вор...»	59
«Когда я был студентом волосатым...»	60

III. Стихи 1998—2008

«Родная речь, отойди от меня...»	62
«Ещё на закате за рощей...»	63
«Малина и сосны, немного рябин...»	64
«Один свалился из окна...»	65
«В баре «Сухой закон»...»	66
«Нет интереса? Сочиняй...»	67
«Та, о ком он писал: невозможно...»	68
«Нормально. Из дворика наверняка...»	69
«Вяземский князь ложится спать...»	70
«Когда бы я один любил печаль и грусть...»	71
«Старуха-жизнь со мной играет в прятки...»	72

«В предотъездной тоске сверхпромышленный город...»	73
«Мне сегодня тридцать лет...»	74
«Когда в природе тишина...»	75
«Когда дождливое, сырое...»	76
Ars poetica	77
«Несу вдоль сообщения «Рома...»	78
«Живу в Перово нехерово...»	79
«Ёжик и божья коровка...»	80
«Когда я музыку не слышал...»	81
Из окна	82
«Что-то не снятся ни Рома, ни Боря...»	83
«В Петровском парке люди и машины...»	84
«Днём в два часа уснуть на два часа...»	86
«По семнадцатым числам плачу за квартиру...»	87
«Ради однокомнатной квартиры...»	88
«Оторопев, завидовать смертельно...»	89
«С конца чужой войны четвёртая весна...»	90
Сонет	91
«В Эрмитаже и Лувре, Британском музее...»	92
«Накарябать великий роман...»	93
«Заката отсветы красивы...»	94
Страсбург	95
«Женщины стихов не понимают...»	96
Амстердам	97
«Переворошу стихотворенья...»	98
«В египетском заныла голова...»	99
«Я закрываю магазин стихов...»	100

Олег Дозморов. Смотреть на бегемота.

редактор:

А. Переверзин

художник:

С. Труханов

корректор, технический редактор:

О. Тузова

издательство «Воймега»

voymega@yandex.ru

alkonost.mail@gmail.com

Бумага офсетная.

Печать офсетная.

Формат 60х90 1/16

Тираж 500 экз.



Олег Дозморов родился в 1974 году в Свердловске. Окончил филологический факультет и аспирантуру Уральского государственного университета и журфак МГУ. Работал преподавателем русского языка, журналистом, редактором. Автор книг «Пробел» (1999), «Стихи» (2002), «Восьмистишия» (2004), изданных в Екатеринбурге. Публиковался в журналах «Арион», «Воздух», «Волга», «Звезда», «Знамя», «Новый мир», «Рубеж», «Урал». С 2009 года живёт в Великобритании.